



12+

Амалия Ригер

Контракты

Амалия Ригер

Контракты

<https://litres.ru/74302293>

ISBN 9785007085106

Аннотация

Тем, кто прочитает это и решит, что речь не о нём.

Тем, кто узнает свою подпись на последней странице — и захлопнет книгу раньше.

Подпись не становится чужой оттого, что ты её не помнишь.

Содержание

КОНТРАКТЫ	5
Большая книга	5
ПЕРЕД ВХОДОМ	6
КОНТРАКТЫ, КОТОРЫЕ ТЫ НЕ ЧИТАЛ	8
ПРОЛОГ. ДАЖЕ ТЫ	8
ЧАСТЬ I	11
ЛИЧНОСТЬ — ГДЕ ВЛАСТИ БОЛЬШЕ	11
ВСЕГО	
Пусть будет как у всех	12
Клятва о детях	17
Та, что не смогла	22
Я уже слишком стар	29
ЧАСТЬ II	37
РОД — ПОДПИСИ ТВОЕЙ НЕТ	37
Всё равно отберут	38
Та, что вернула счёт	48
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Контракты

Амалия Ригер

© Амалия Ригер, 2026

ISBN 978-5-0070-8510-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

КОНТРАКТЫ

Большая книга

Тем, кто прочитает это и решит, что речь не о нём.

*Тем, кто узнает свою подпись на последней странице —
и захлопнет книгу раньше.*

*Подпись не становится чужой оттого, что ты её не пом-
нишь.*

ПЕРЕД ВХОДОМ

Ты держишь не книгу. Ты держишь первую из восьми частей одной.

То, что начинается со следующей страницы, называется «Контракты, которые ты не читал». Его можно прочесть как отдельную книгу, закрыть и решить, что дело закрыто. Оно не закрыто. Это первая часть большой — а большая устроена так же, как ты: не в один слой.

В этой первой части я вскрою восемь чужих договоров и научу тебя одному: читать подпись. Чья рука её поставила. До кого из-под неё дотянуться, а до кого — нет. Это не приём для одной книги. Это ключ ко всем восьми.

Потому что договор, под которым ты живёшь, не один. Один держит тебя в деньгах. Другой — в теле, и тело платит по нему первым, раньше, чем ты замечаешь счёт. Третий решает, кого ты подпускаешь близко и кого не подпустишь никогда. Четвёртый подписан над твоей детской головой — а ты уже заносишь ту же руку над своим ребёнком. Каждому отведена своя комната в этой книге. В каждую я введу тебя тем же ножом.

И одно я обещаю тебе на все восемь сразу — здесь, на пороге, пока ты ещё уверен, что пришёл читать про других.

В каждой комнате ты снова решишь, что речь не о тебе.

Про деньги подумаешь: это про тех, кто их считает. Про

тело: я здоров. Про любовь: у меня всё хорошо. Про ребёнка: я не такой родитель. Восемь комнат — и на пороге каждой ты заново выставишь одну и ту же защиту, забыв, что выставлял её этажом выше и что там она тебя не спасла.

Я не буду ломать её восемь раз. Я сломаю её один раз — на входе в первую часть, через страницу. Здесь я только называю, сколько раз тебе захочется её отстроить.

Дальше — вниз. Комната за комнатой, от той, где подпись твоя и власти у тебя больше всего, до самой нижней, где подпись тоже твоя — а дотянуться нельзя.

Первая часть открыта. Спускайся.

КОНТРАКТЫ, КОТОРЫЕ ТЫ НЕ ЧИТАЛ

ПРОЛОГ. ДАЖЕ ТЫ

Есть жизнь, которую ты называешь своей.

Ты встаёшь в ней по утрам. Выбираешь — так тебе кажется. Любишь тех, кого выбрал. Боишься того, что само собой страшно. Срываешься там, где сорвался бы любой. Объясняешь себя словами, которые слышал с детства: я такой человек, у меня так сложилось, мне просто не везёт, такая порода.

Ты думаешь, что описываешь характер.

Ты описываешь условия договора.

Не того, что подписывают ручкой. Того, что исполняется телом. По которому ты платишь — годами, не глядя на сумму, потому что давно перестал замечать, что вообще платишь. Это не похоже на счёт. Это похоже на тебя. В том и сила пункта: пока он берёт по чуть-чуть, его принимают за свой нрав. «Я не умею радоваться.» «У меня не складывается с деньгами.» «Меня всё равно бросят.» Это не наблюдения. Это формулировки. Кто-то их составил. Кто-то поставил под ними подпись.

Иногда — ты.

И вот первое, с чем я прошу тебя посидеть, прежде чем перевернуть страницу.

Даже ты.

Даже здесь, на этой странице, где ты уже приготовился читать про других — про слабых, про тех, кто верит в порчу, про чужие сломанные судьбы, к которым ты-то отношения не имеешь. Даже ты живёшь под пунктом, которого не открывал. Защита «это не про меня» — не доказательство, что тебя обошло. Это первая строка твоего договора. Самая мелкая. Та, которую и пишут таким шрифтом, чтобы не прочли.

Теперь я заберу у тебя то, за чем ты, скорее всего, сюда и пришёл.

Списка не будет.

Не будет страницы, где напечатано: вот это в тебе рви, а вот это терпи. Не будет обряда в конце, после которого станет легко. Я не из тех, кто снимает. Я из тех, кто читает. Я сяду рядом, открою договор на нужном месте, проведу пальцем по строке и скажу: вот пункт. Вот подпись. Вот штраф, который ты платишь по сей день. А дальше — твоё.

Это не жестокость. Жестокость — это позволить человеку всю жизнь принимать счёт за судьбу.

Я знаю, как это читается. Я знаю это не из книг.

Но об этом — в самом конце. Здесь между нами не будет исповеди. Здесь будет работа.

И один-единственный вопрос, который держит всю эту книгу. Не «как снять». Не «за что мне это». Эти вопросы за-

дают, чтобы остаться жертвой подольше.

Вопрос другой.

Кто подписал?

Потому что подпись бывает разная. Под одними пунктами стоит твоя рука — и ты можешь её забрать. Под другими — рука человека, умершего за сто лет до твоего рождения, и забрать её нельзя, можно только перестать платить по ней дальше. А под третьими стоит твоя рука, но в таком месте, куда из этой жизни уже не дотянуться, — и иногда такой пункт отпускает, а иногда держит до последнего дня, и день этот известен заранее.

Снаружи они выглядят одинаково.

Какой из трёх держит тебя — не видно. Это нельзя угадать, нельзя вычислить по тяжести, нельзя определить по тому, как сильно болит. Тип договора выдаёт себя только в одном: в том, как он отвечает, когда ты впервые пробуешь его снять. Поддаётся. Требуется, чтобы ты сперва признал свою подпись. Или бьёт — за то, что ты посмел тронуть.

С этого и начнём. С самого верхнего этажа. Там, где подпись чаще всего твоя, — а значит, и власти у тебя больше всего.

Дальше будем спускаться.

ЧАСТЬ I

ЛИЧНОСТЬ — ГДЕ ВЛАСТИ БОЛЬШЕ ВСЕГО

Подпись твоя. Значит, и забрать можешь ты.

Пусть будет как у всех

Она пришла не с бедой. С бедой приходят те, у кого что-то случилось. У неё не случилось ничего.

В этом и была беда.

Сорок один год. Работа, на которой не плохо. Муж, с которым не плохо. Квартира, отпуск раз в год, дочь, которая звонит по воскресеньям. Если перечислять вслух — хорошая жизнь. Она и перечисляла. Сидела напротив и перечисляла мне свою жизнь, как опись имущества, и в конце каждого пункта будто ставила галочку: есть, есть, есть.

А потом замолчала. И сказала то, ради чего пришла.

— У меня всё есть. Почему я ничего не чувствую?

Я не ответила сразу. Я смотрела на неё и видела не её — видела ровную линию. Без провалов. Без пиков. Жизнь, в которой ничего не упало слишком низко, потому что ничего и не поднималось слишком высоко. Линия человека, который однажды очень хорошо договорился — чтобы его не задело.

— Когда вы в последний раз чего-то очень хотели? — спросила я. — Так, чтобы до дрожи. Чтобы страшно не получить.

Она задумалась. По-настоящему задумалась — я видела, как она перебирает годы.

— Не помню, — сказала она наконец. И испугалась этого сильнее, чем всего, что говорила до.

Вот здесь и лежит контракт. Не там, где больно. Там, где ровно.



Давай разберём по строкам, потому что это первый разбор в книге и от него зависит, поймёшь ли ты остальные.

Никто никогда не садился с ней за стол и не предлагал условий. Не было ночи, в которую она решила: всё, больше не высываюсь. Не было клятвы, обиды, удара, после которого ломаются. Спроси её прямо — когда ты это подписала? — она не назовёт ни дня. И это не потому, что забыла.

Потому что подпись поставлена молчанием.

Есть договоры, которые заключаются одним словом, сказанным взрослым над детской головой. Чаще всего — даже не ей адресованным. Девочка пяти лет тянет руку на утреннике, лезет вперёд, поёт громче всех, падает, ревёт, хохочет, требует. Живёт на полную громкость, как умеют только до того, как научат тише. И кто-то усталый — мать, бабушка, очередь в поликлинике, вся страна разом — роняет над ней: — Не высывайся. Будь как все. Пусть будет как у всех.

Это не проклятие. Это не злоба. Это даже забота — в той форме, в какой её знали те, кто говорил. «Как все» — значит, не побьют. Не засмеют. Не выгонят. В мире, где они выросли, торчащий гвоздь действительно забивали первым, и они передавали дочери единственную технику безопасности, которую знали: не торчи.

Девочка не подписывала договор. Девочка просто пере-

стала тянуть руку.

И вот это — «просто перестала» — и есть подпись. Не на бумаге. На поведении. Дальше она тридцать пять лет исполняла пункт, которого никто ей вслух не зачитывал. Не лезла. Не хотела слишком сильно. Выбирала то, что не подведёт, — потому что то, что могло поднять высоко, могло и уронить, а ронять её научили бояться раньше, чем хотеть. Каждый раз, когда внутри поднималось слишком живое, слишком жадное, слишком её — она глушила это сама. Без чужой руки. Рука давно была не нужна.

В этом весь ужас личного контракта первого типа: исполнитель и надзиратель — одно лицо. Тот, кто когда-то сказал «будь как все», умер или забыл. А она всё ещё стоит на посту у самой себя и не пускает себя туда, где громко.

Тело выдало договор раньше, чем она дошла до слова. «Ничего не чувствую» — это не про чувства. Это про сумму штрафа. Когда годами гасишь в себе и высокое, и низкое, чтобы не качнуло, — выравнивается всё. И боль уходит, да. Но по той же ровной линии уходит и всё остальное. За «меня не задевает» всегда заплачено «меня ничего не трогает». Это один пункт. Нельзя выкупить только половину.



Я сказала ей это. Не мягко.

— Вас никто не проклинал. Вы сами тридцать пять лет назад согласились стать тише — и с тех пор ни разу не пересмотрели договор. Вы решили, что это характер. Это не ха-

рактер. Это пункт. И знаете, что в нём хорошего?

Она подняла глаза.

— Подпись ваша. Не материнская, не бабкина. Вы поставили — пусть рукой пятилетнего ребёнка, но вы. А значит, отозвать её тоже можете только вы. Никто другой не имеет права. И никто другой не сможет.

Это был тот редкий случай, когда я с самого начала знала: этот контракт — отпускающий. Он из тех, что поддаются. Не потому что лёгкий — а потому что подпись на месте, под ней стоит живой человек, и человек этот ещё способен испугаться слова «не помню». Кто испугался — тот ещё чувствует. Кто ещё чувствует — тому есть чем отозвать подпись.

Я не снимала с неё ничего. Снимать было нечего — на ней не висело чужого. Я сделала другое. Я показала ей строку и заставила прочесть вслух. «Пусть будет как у всех.» Она прочла — и впервые услышала это не как мудрость, переданную с любовью, а как то, чем оно было: как приговор, который ей вынесли в пять лет и который она с тех пор приводила в исполнение сама.

Чтобы отозвать такую подпись, не нужен обряд. Нужно одно. Поймать себя в момент, когда снова глушишь живое, — и в этот раз не заглушить. Захотеть вслух. Полезть. Высунуться. Сделать то самое, от чего тридцать пять лет уберегал договор, — и пережить, что земля не разверзлась.

Она ушла без облегчения. Я и не обещала облегчения. Облегчение — это для тех, с кого сняли. С неё никто ничего

не снимал. Ей вернули право хотеть — а это не легче. Это страшнее. Потому что теперь, если жизнь так и останется ровной, виноватого не будет. Ни порчи, ни матери, ни судьбы.

Только её собственная подпись, которую она снова решит не отзывать.



Я начала книгу с неё нарочно.

Не с громкой драмы. Не с порчи, родового проклятия, мёртвого срока — это будет дальше, и это будет страшнее. А с женщины, у которой «всё хорошо». Потому что если ты дочитал до этого места и всё ещё уверен, что речь не о тебе, — вернись на страницу выше и перечитай её опись. Работа, на которой не плохо. Человек рядом, с которым не плохо. Жизнь, которую можно перечислить по пунктам и поставить галочки.

И ни одного дня, когда ты в последний раз чего-то хотел до дрожи.

Ты ведь тоже не вспомнил.

Это не значит, что над тобой висит контракт. Это значит, что ты не проверял. А самый дешёвый, самый мелкий шрифт — всегда тот, который человек уверен, что читать не нужно, потому что там написано про других.

Мы только что прочли первую строку. Самую лёгкую. Подпись твоя, штраф терпимый, отозвать — в твоей власти. Дальше власти будет всё меньше.

Клятва о детях

Первый контракт подписывают молчанием. Этот — криком.

Она помнила день. Помнила час. Помнила, во что была одета и какого цвета была земля — мокрая, ноябрьская, тяжёлая. Те, кто заключил договор первого типа, не назовут тебе дня. Эта женщина назвала мне всё. Дату. Место. Слово.

Ей было девятнадцать, когда хоронили мать.

Мать растила её одна. Растила тяжело, зло, с поправкой — тем особым материнским поправкой, который входит под кожу и остаётся там навсегда: я на тебя жизнь положила. Девочка слышала это с трёх лет. «Я ради тебя не вышла замуж.» «Я ради тебя ночей не спала.» «Я бы жила, если бы не ты.» Любовь, поданная как счёт. Каждый день — новая строка в счёте, который невозможно закрыть, потому что сама твоя жизнь и есть долг.

И вот — гроб. Порог между тем, что ещё можно сказать, и тем, чего уже не вернёшь. Девятнадцать лет. И над этим гробом, глядя в лицо женщине, которая всю жизнь предъявляла ей счёт за рождение, она дала клятву.

Не вслух. Внутри — но это сильнее, чем вслух.

Никогда. Я никогда не сделаю этого с другим человеком. Я никогда не положу свою жизнь на ребёнка, чтобы потом предъявить ему счёт. Лучшие у меня вообще не будет детей,

чем я стану такой, как ты.

Смотри, что она подписала.

Она думала, что отрекается от матери. На самом деле она подписала договор, по которому ребёнок стал опасностью. Не радостью, не страхом, не выбором — опасностью. Угрозой превратиться в мать. Каждый раз, когда тело хотело ребёнка — а оно хотело, — поднимался пункт: родишь — станешь ею. И она не рожала. Не потому что не складывалось. Складывалось. Уходили мужчины, готовые быть отцами. Случались и кончались беременности — всегда находилась причина, всегда земная, всегда объяснимая. Тело исполняло клятву чище, чем она сама понимала, что клялась.

Двадцать лет. К тридцати девяти она пришла ко мне с тем, что называла «не складывается с детьми».

Это не «не складывается». Это исполняется. Безупречно.



Вот чем этот контракт отличается от первого, и почему я поставила его вторым.

Первую женщину никто не проклинал — она сама тихо согласилась стать тише. Эту — тоже никто не проклинал. Но она не соглашалась тихо. Она клялась. В полный голос внутреннего крика, в самой сильной точке, какая бывает у человека, — над гробом родителя, в девятнадцать, когда вся боль жизни собрана в одну минуту и ищет, чем разрядиться.

Клятва, данная в такой точке, держит как сталь. Потому что она дана не из трусости, а из любви и ужаса разом. Она

благородна. В этом ловушка. Девочка над гробом хотела хорошего — не повторить, не передать боль дальше, оборвать дурную кровь на себе. Намерение чистое. А договор вышел такой же тюрьмой, как материнский попрек, от которого она бежала. Просто с обратным знаком.

Запомни это, потому что это закон, а не случай: самые прочные личные контракты подписывают не от слабости. От силы. В лучшую свою минуту, с самым чистым намерением. Поэтому их так трудно разглядеть — рука не поднимается резать то, что человек считает своей честью.

Она и держала это за честь. «Я не такая, как мать» — двадцать лет это было единственным, чем она гордилась.

— Вы гордитесь тем, — сказала я, — что выполнили клятву не рожать. Вы понимаете, что вы только что сказали?

Она поняла. Я видела, как поняла. Кровь отошла от лица.



Этот договор не снимается уговором. Бесполезно объяснять, что она не станет матерью. Бесполезно — потому что пункт стоит глубже логики, он стоит на клятве, а клятву логикой не отзывают. Клятву отзывают только клятвой. Обет — только встречным обетом той же силы, данным в той же точке.

Я не стала её утешать. Я вернула её к гробу.

— Туда, — сказала я. — Мысленно. К той земле, к тому ноябрю, к девятнадцати годам. Вы дали слово над мёртвой. Теперь дайте второе — над той же могилой. Не «я не стану

такой, как ты». Это слово вы уже сказали, и оно вас держит двадцать лет. Другое.

— Какое?

— «Я не передам твою боль дальше — и не наказываю себя за то, что я живая.» Первую половину вы уже выполнили, кровь оборвана, можете быть спокойны. А вторую — никогда себе не давали. Вы решили, что обрубить себя и есть честность. Это не честность. Это всё та же мать внутри вас предъявляет вам счёт за то, что вы хотите жить. Вы сбежали от неё в девятнадцать — и носите в себе по сей день.

Она родила через четыре месяца.

Я не люблю такие финалы — слишком похоже на чудо, а я не торгую чудесами. Поэтому скажу прямо, как было: дело не в том, что она «разрешила себе» и тело откликнулось. Дело в том, что обет первого типа можно перезаключить — если успеть. Подпись её. Поставлена её рукой, в сознании, со словами, которые она помнит. Всё, что в её власти, — а в её власти под личным контрактом почти всё, — она могла отозвать. Ей просто двадцать лет никто не показывал, что подписала именно она. Она думала — это судьба отняла у неё детей. Это она сама отдала их. По клятве. Из любви.

Самое горькое в этой главе — не двадцать лет. Самое горькое в том, что она едва успела. Ещё три-четыре года — и тело перестало бы исполнять обет не потому, что он отозван, а потому, что стало поздно по другой причине. И тогда тот же самый контракт, отпускающий по своей природе, прочитал-

ся бы как несущийся до могилы. Не потому что он сменил тип. А потому что у человека кончилось время прийти.

Запомни и это. Тип контракта решает, можно ли его снять. Но снимаешь ты его во времени. А время не входит в договор твоей стороной.



Две женщины. Два личных контракта. Оба отпустили.

Одна перестала глушить живое. Другая перезаклЮчила клятву над тем же гробом, где её дала.

Ты уже почти поверил, что у этой книги добрый ход: увидел подпись — отозвал — свободен. Поверь ещё немного. Мне нужно, чтобы ты поверил, прежде чем я покажу тебе третью.

В третьей главе будет женщина, которая всё поняла. Увидела подпись. Прочла пункт. Сделала всё, что сделали эти две.

И не смогла.

Та, что не смогла

Я обещала тебе женщину, которая всё поняла — и не смогла. Вот она.

Не пугайся за неё раньше времени. У этой главы есть свет. Просто свет в ней падает не туда, куда ты захочешь его направить.

Ей было пятьдесят два. Пришла прямая, сухая, с той осанкой, которую держат не от гордости, а оттого, что разучились прислоняться. Села так, чтобы не коснуться спинкой стула. Я это отмечаю всегда — как человек садится. Кто-то падает в кресло, кто-то жмётся к краю. Эта села как несут поднос: ровно, на весу, чтобы ничего не пролить. Пятьдесят два года на весу.

Жаловалась на сердце. Врачи ничего не находили — давление, кардиограмма, всё в норме, а по ночам перехватывает так, что сидит до утра. Пришла, потому что кончились врачи. Не потому что поверила в меня. Я это тоже отмечаю.

— Кто вам помогает? — спросила я.

Она не поняла вопроса.

— В каком смысле.

— В прямом. Когда тяжело — кто рядом. К кому идёте.

Она подумала. По-настоящему — как первая женщина над словом «не помню». И ответила с лёгкой даже гордостью:

— Я справляюсь сама.

Вот оно. Сердце ни при чём. Точнее — при чём, но не как болезнь. Тело держало на весу тридцать лет и наконец стало проситься, чтобы его опустили. А опустить было не на кого. Она построила жизнь, в которой опускать не на кого. И построила не от несчастья — по обету.



Ей было двадцать с небольшим, когда её предал тот, на кого она опёрлась всем весом. Не важно кто — муж, мать, первый человек, которому она доверилась до конца. Важно, что она опёрлась полностью, без страховки, как опираются один раз в жизни. И этот человек ушёл в ту минуту, когда она висела на нём всем телом. Она упала с высоты доверия на бетон.

И, лёжа на этом бетоне, она дала обет. Тихий, без свидетелей, но это был именно обет — слово, сказанное в самой нижней точке, а такое слово держит как клятва над гробом.

Никогда больше. Я больше никогда ни на кого не обопрусь. Я не буду нуждаться. Я не попрошу. Я выстрою себя так, чтобы мне никто не был нужен, — и тогда меня нельзя будет уронить.

Смотри, что она подписала. Она думала, что подписывает безопасность. Она подписала одиночество — но не то одиночество, которое случается, а то, которое исполняется. Каждый раз, когда рядом появлялся человек, на которого можно было опереться, поднимался пункт: обопрёшься — уронят. И она не опиралась. Отстранялась первой. Уходила раньше,

чем привяжется. Делала всё сама, всё несла сама, всем доказывала, что не нужен никто, — и доказала. К пятидесяти двум вокруг неё не осталось ни одного человека, на которого можно лечь. Обет исполнился безупречно. Чище, чем у той, что не рожала.

Это всё ещё личный контракт. Верхний этаж. Подпись её. По всем законам этой книги — отзывается.

Я была уверена, что отзову.



Я сделала с ней ровно то, что с первыми двумя. Показала строку. Заставила прочесть вслух. «Я больше никогда ни на кого не обопрусь.» Она прочла — и узнала. Поняла всё, до дна. Поняла, что сердце по ночам — это тело, которое тридцать лет держали на весу. Поняла, что предал её один человек однажды, а наказала она себя пожизненно. Поняла, что обет, который она держала за силу, и есть та самая рана, только затянувшаяся коркой такой толщины, что под ней уже не прощупать живого.

Понять — поняла. А отозвать не смогла.

Я объяснила ей, как отзывают такой обет. Так же, как первая отзывала свой: не словом, а делом. Личный контракт «не обопрусь» снимается одним — обопрись. Найди живого человека и в первый раз за тридцать лет ляг на него весом. Попроси. Прими помощь, которую не заслужила и не отработала. Сделай ровно то, от чего обет тебя берёт, — и переживи, что тебя не уронили.

И вот здесь обнаружилось то, чего я не предусмотрела. Опереться было не на кого.

Не фигурально. Буквально. Я сказала: найдите человека. А человека не было. Обет, который тридцать лет берёт её от падения, за эти тридцать лет выжег вокруг неё всех, на кого можно лечь. Он методично, год за годом, убирал из её жизни каждого, кто подходил слишком близко, — потому что в этом и состоял пункт. И к тому дню, когда она наконец захотела его отозвать, отзывать было нечем. Инструмент, которым снимают этот контракт, контракт же и уничтожил первым.

Вот закон, ради которого написана эта глава. Запомни его, он тяжелее всех предыдущих.

Есть контракты, которые съедают собственный ключ.

Они устроены так, что цена за их исполнение — это как раз та способность, которой их отзывают. Тридцать лет она не нуждалась — и разучилась. Атрофировалось. Как не работает рука, которую тридцать лет держали в гипсе: гипс снимут, а рука не поднимется, потому что мышца ушла. Подпись её. Этаж верхний. Власти у неё, по типу договора, было больше всего. А отозвать она не смогла — не потому, что тип не пускал, а потому, что к моменту, когда она дошла до меня, ей нечем стало подписывать обратное.

Я не люблю это говорить, но я не торгую ложью, а ложь была бы добрее. Бывает поздно даже там, где можно. И «поздно» приходит не по календарю. Ей было всего пятьдесят два

— по календарю не поздно ничего. Поздно стало внутри. Контракт успел выесть то место, которым из него выходят.



Я могла бы закончить главу здесь, и это было бы честно. Но это было бы не всё.

Потому что у неё была дочь.

Двадцать четыре года. И эта дочь сидела рядом, привезла мать, не верящую в меня, к ведьме — от отчаяния, как возят к последнему врачу. Сидела ровно так же, как мать. На краю стула. На весу. Уже научилась нести поднос. Двадцать четыре года — а осанка как у несущего пожизненно. Я смотрела на неё и видела ту же строку, ещё не подписанную, но уже занесённую над бумагой. Девочка росла рядом с фортецией и усвоила главный урок фортеции: проси — уронят, нуждаться стыдно, сильный справляется сам. Она ещё ничего не подписала. Но рука уже тянулась к перу.

И тогда я перестала работать с матерью и заговорила с дочерью. При матери. Нарочно при матери.

— Посмотри на неё, — сказала я девочке. — Посмотри, как она сидит. Это не характер. Это то, что с ней сделал один человек тридцать лет назад и что она с тех пор делает с собой сама. Ты уже сидишь так же. Ты уже начала. Я не могу снять это с неё — поздно, она сама знает, что поздно. Но с тебя ещё нечего снимать, потому что ты ещё не дала слова. Не давай. Всё, что я скажу сейчас, я говорю не ей. Ей я уже опоздала. Я говорю тебе.

И мать — та, что за весь сеанс не уронила ни слезы, державшая лицо как поднос, — здесь сломалась. Не оттого, что слышала свой приговор. Свой она приняла сухо. Сломалась оттого, что я при ней сказала дочери то, чего она сама дочери сказать не смогла бы никогда, потому что обет не давал ей даже этого — даже признать вслух, что она сломана и не хочет той же поломки ребёнку.

Она заплакала и сказала дочери одну фразу. Первую за двадцать четыре года просьбу. Не за себя.

— Не будь как я. Прошу тебя. Опирайся на людей.

Вот это — и есть та работа, которую можно было сделать. Не снятие. Снятия не вышло. А единственный рычаг, оставшийся у того, кто не может снять с себя: не передать дальше.



Подведём, потому что это поворотная глава и дальше будет только тяжелее.

Три женщины, три личных контракта, верхний этаж, везде подпись своя.

Первая отозвала — успела, было чем.

Вторая перезаклучила — едва успела, но было чем.

Третья не смогла — потому что контракт сожрал то, чем его снимают, и к её приходу снимать стало нечем.

Все три договора — одного типа. Личные. Отзываемые по своей природе. Снаружи неотличимы. И только в работе выяснилось, что один отпустил легко, другой — со скрипом, а третий держал до могилы. Не потому, что он был другого

сорта. А потому, что человек дошёл до него тогда, когда уже нечем было выкупать.

Запомни это лучше всего остального в первой части. Тип контракта говорит тебе, можно ли его снять в принципе. Он не говорит, успеешь ли ты. Эти два вопроса — разные. И второй иногда страшнее первого.

Но у неё был свет. Слабый, не на неё. Она не вытащила себя — она оборвала строку на дочери. И ушла, неся свой обет до конца, но впервые за тридцать лет — опершись. На одну-единственную просьбу, обращённую не к спасению, а к ребёнку.

В следующей главе света не будет.

Там будет человек, который тоже всё увидел. Тоже захотел двигаться. И который, едва начав, подписал поверх старого договора второй — «я уже слишком стар» — и умер под обоими, не спасши никого.

Этой главой закрывается верхний этаж. Дальше мы спускаемся туда, где подписи твоей нет вовсе.

Я уже слишком стар

Здесь света не будет. Я предупредила в прошлой главе и повторяю сейчас, чтобы ты не ждал напрасно: этот человек всё увидел, всё понял, начал двигаться — и умер под своим договором, не вытащив ни себя, ни кого-либо ещё. Я рассказываю это не чтобы тебя напугать. Я рассказываю это потому, что без этой главы первая часть была бы ложью. А я обещала тебе метод, а не утешение.

Ему было шестьдесят семь.

Он пришёл сам — что редкость для мужчины этого склада. Мужчины такого склада не приходят к ведьме; их приводят жёны или не приводит никто. Этого не привёл никто, потому что приводить было некому. Он пришёл сам, и уже это говорило мне, что его что-то толкнуло в спину достаточно сильно.

Его толкнул диагноз.

Не приговор — я уточняю, это важно. Не «месяцы». Болезнь, с которой живут, но живут иначе: с числом. Впервые в жизни у его будущего появился край. Не бесконечная плоскость «потом», по которой он шёл шестьдесят семь лет, а плоскость с обрывом, и обрыв стало видно.

И вот когда стало видно край — стало видно и дорогу. Он впервые в жизни обернулся и посмотрел, по чему шёл.



Он шёл по «потом».

Всю жизнь. С самой юности у него был договор, и звучал он разумно, по-мужски, почти добродетельно: сначала дело — потом жизнь. Сначала встану на ноги — потом женюсь по любви, а не по расчёту времени. Сначала подниму детей — потом займусь собой. Сначала закрою долги, доделаю, дострою, дотерплю — а потом, потом, когда всё будет готово, я наконец начну жить.

Он не был лентяем. Наоборот. Этот договор носят самые работающие — он и выглядит как трудолюбие, как ответственность, как зрелость. В том и сила пункта: «потом» невозможно отличить от плана. План говорит: сделаю это, затем то. И «потом» говорит то же самое. Разница одна, и она невидима годами: у плана есть точка, в которой ты переходишь к жизни. У «потом» этой точки нет. Она всё время отодвигается. Доделал одно — выросло другое. Поднял детей — появились внуки. Закрыл долги — нашлась новая причина, по которой жить ещё рано.

Шестьдесят семь лет он откладывал собственную жизнь на склад, под расписку «потом заберу». И ни разу не пришёл за ней. Потому что в договоре было мелким шрифтом написано то, чего он не прочёл: забрать нельзя. «Потом» — это не отложенная жизнь. Это непрожитая жизнь, которой дали красивое имя, чтобы не было так страшно её не жить.

Тело держало эту бухгалтерию исправно. Он не болел — некогда. Не уставал — нельзя. Не позволял себе ни остано-

ки, ни желания, ни «хочу». «Хочу» он отложил вместе со всем остальным, на тот же склад. А потом тело предъявило счёт разом, одним диагнозом, как предъявляют по всем отложенным платежам сразу.

И вот здесь, на этом самом месте, у него был шанс. Настоящий. Тот единственный, что бывает у человека на верхнем этаже.



Потому что договор был его.

Подпись стояла его рукой. Никто не заставлял его откладывать жизнь — он сам, год за годом, выбирал «потом» вместо «сейчас», и каждый такой выбор был росчерком. А раз подпись его — отозвать её мог он. По всем законам этой книги, по тем самым, которые отзывали обет первой женщины и перезаключили клятву второй, — он мог. Шестьдесят семь — это не «поздно». У него были годы. Болезнь сократила их, но не отняла. Ему оставалось ровно то, что нужно для отзыва личного контракта: время и собственная подпись. Оба были при нём.

Я сказала ему это прямо.

— Вы всю жизнь ждали момента, когда можно будет начать. Вот он. Хуже новостей, чем ваш диагноз, у вас уже не будет — значит, и ждать больше нечего. Всё «потом», ради которого вы откладывали, кончилось. Осталось только «сейчас». Впервые за всю жизнь у вас нет причины его откладывать. Берите.

Он понял. Я видела — понял, и не умом, а тем местом, где понимают по-настоящему: у него задрожали руки. Человек, шестьдесят семь лет державший себя в кулаке, на минуту увидел собственную непрожитую жизнь целиком — и потянулся к ней.

А потом отдёрнул руку.

И сказал шесть слов, которыми закрыл за собой дверь, к которой только что подошёл.

— Да поздно уже. Я слишком стар.



Смотри внимательно, потому что это самый тонкий разрез во всей первой части.

«Я слишком стар» — это не вывод. Это не усталость и не реализм, хотя притворяется и тем, и другим. Это вторая подпись. Он только что, на моих глазах, подписал поверх старого договора новый — и новый был тем же самым.

Подумай. Всю жизнь его держало «потом» — жизнь начнётся позже, не сейчас, сейчас рано. Что такое «я слишком стар»? Это то же «не сейчас», только вывернутое наизнанку и поставленное в конец. Раньше «потом» отодвигало жизнь в будущее. Теперь «слишком стар» объявило будущее закрытым. Но пункт — тот же. Та же рука, тот же договор, последняя его строка. «Рано» всю жизнь, а в конце, не пробыв «вовремя» ни дня, — сразу «поздно». Между «ещё рано» и «уже поздно» у этого человека не было ни единого дня, когда было пора. Договор не дал. Он и устроен так, чтобы не дать.

Вот закон, которым закрывается верхний этаж. Запомни его, он переворачивает всё, что ты усвоил в первых трёх главах.

На этаже, где у тебя больше всего власти, твоя власть — это и есть твоя главная опасность.

Та же рука, которой ты можешь отозвать подпись, может расписаться снова. И самый смертельный личный контракт — не тот, что ты подписал в юности по глупости или в горе. А тот, что ты подписываешь в самый момент побега. Когда дверь уже открыта, свет уже виден, нога уже занесена за порог — и ты своей же свободной рукой ставишь подпись под приговором «мне отсюда не выйти». Этой подписью ты не остаёшься в тюрьме. Ты её запираешь. Изнутри. Своим ключом.

Первая женщина свою свободу употребила на отзыв. Этот человек — на новую подпись. Этаж один. Власть одна. Свобода одна. Он распорядился ею ровно наоборот — и имел на это полное право, потому что свобода на то и свобода, что ею можно убить себя так же легко, как спасти.



Он умер под первым договором.

Не под «слишком стар» — это была только последняя строчка, замок. Убил его тот, первый, длиною в жизнь: «потом». Он умер, так и не прожив ни дня из той жизни, которую шестьдесят семь лет складывал на склад под расписку. Умер работающим, отложившим, собиравшимся начать. С

полным складом непрожитого и пустыми руками.

И он не спас никого.

Это последнее, чем эта глава отличается от предыдущей, и ради этого отличия она стоит в книге. У той женщины не вышло спасти себя — но осталась дочь, и она оборвала строку на дочери. Передала меньше, чем получила. У этого человека рычага не было. Дети выросли уже по его образцу — работающие, отложившие, живущие «потом», и он не сказал им того, что сказала дочери та женщина. Не успел? Нет. Не захотел признать вслух, что прожил не ту жизнь, — потому что признать это значило бы, что и весь их «правильный» труд ведёт туда же, а на это у него не хватило ни сил, ни слов. Он унёс свой договор целым и передал его дальше нетронутым, как наследство. Его дети подпишут то же. Они уже подписывают.

Я не смягчу финал. Смягчить — значило бы солгать, а ложь здесь была бы не милосердием, а трусостью, той же самой, что убила его. Бывает, что человек видит всё, может всё — и всё равно выбирает замок. Видеть подпись недостаточно. Иметь власть отозвать недостаточно. Нужно ещё не подписать в последнюю секунду новый договор, удобный тем, что снимает с тебя обязанность жить.

Он подписал. Имел право. Воспользовался.



На этом верхний этаж закрыт.

Оглянись на пройденное, потому что дальше пол уходит

вниз и таких прав у тебя больше не будет.

Четыре человека. Четыре личных контракта. Везде — где власти больше всего, где подпись своя, где, по самому устройству этажа, отозвать можно.

Одна отозвала. Одна перезаключила. Одна не смогла, но не передала дальше. Один не смог и передал нетронутым.

И заметь, что я ни разу не сказала: этот контракт был сильнее того. Они были одного типа. Одной снимаемости. Разница вышла не в договорах — в людях и в том, чем эти люди распорядились. Власть была у всех четверых. Двое употребили её на свободу, двое — против себя. Снаружи, до работы, ты бы не отличил их. Я не отличала. Тип контракта виден только в одном: как он отвечает, когда его пробуют снять. Здесь ответ дал не контракт. Ответ дал человек.

А теперь — вниз.

До сих пор мы говорили о подписях, которые ставил ты сам. Спорил с ними, отзывал, перезаключал, проигрывал им — но всё это были твои подписи, и потому у тебя всегда оставалось право голоса.

Теперь я покажу тебе договор, под которым твоей подписи нет вообще.

Который заключили за сто лет до твоего рождения. Который ты исполняешь по сей день, ни разу его не подписав. С которого нельзя снять свою руку — потому что твоей руки там никогда и не было.

Это другой этаж. И первое, что ты на нём почувствуешь,

— как уходит почва, на которой стояла вся первая часть:
«подпись твоя — значит, и власть твоя».

Здесь подпись не твоя.

ЧАСТЬ II

РОД — ПОДПИСИ ТВОЕЙ НЕТ

Отозвать нельзя. Можно перестать платить.

Всё равно отберут

На верхнем этаже я всегда могла сказать человеку: посмотри, это ты. Это была жестокая фраза, но честная, и в ней было спасение — раз ты, значит, в твоей власти.

Здесь я этого сказать не могу.

Потому что он не подписывал. Я смотрела на него и впервые за долгую практику не находила подписи. Ни молчаливой, как у первой. Ни кричащей, как у второй. Никакой. Договор был, он исполнялся у меня на глазах, штраф списывался исправно — а руки, которая его заключила, в этом человеке не было. Рука расписалась за сто лет до его рождения. А платил он.

Его звали Сергей. Сорок восемь лет, и за этими сорока восемью — ровная полоса одного и того же.



Он не мог удержать хорошее.

Не «ему не везло» — это другое, это бывает. У него было наоборот: ему везло, а он не мог это удержать. Приходили деньги — он терял их, и всегда находился способ потерять: вложил не туда, поверил не тому, отдал и не вернули. Приходила женщина, с которой было хорошо, — и он сам, своими руками, делал так, чтобы стало нельзя: отдалялся, проверял на разрыв, дёргал нить, пока не лопнет. Складывалось дело — и на самом взлёте он его ронял. Каждый раз по-разному.

Каждый раз с новой, отдельной, объяснимой причиной.

Сядь он перечислять — вышла бы история сорока восьми неудач, у каждой своё лицо. Но я не слушаю истории. Я слушаю форму. А форма была одна: как только хорошее становилось своим, по-настоящему своим, тем, что можно потерять, — он избавлялся от него первым. Не дожидаясь, пока отберут. Сам.

— Зачем? — спросила я. — Вы каждый раз почти у цели. И каждый раз сами рубите. Зачем?

Он не задумался, как задумываются над вопросом. Он ответил сразу, готовым, тем тоном, каким повторяют то, что знали всегда:

— А смысл держать. Всё равно отберут.

Вот она. Фраза. Я ждала её, потому что её всегда говорят — не этими словами, так другими, но форму ни с чем не спутаешь.

— Кто отберёт?

Он пожал плечами. И в этом пожатии был весь договор. Он не знал кто. Не было никакого «кто». «Отберут» стояло без подлежащего, как закон природы, как «темнеет к ночи». Не конкретный враг, не судьба даже — просто свойство мира: к хорошему нельзя привязываться, потому что у хорошего одна судьба — его отбирают. Лучше не иметь. Целее будешь.

Это не его мысль. Он её не выдумывал. Он её унаследовал.



Я спросила про отца.

Я почти всегда спрашиваю про отца или мать, когда нахожу фразу без подписи, — потому что фраза без подписи приходит по крови, а кровь течёт сверху вниз. И отец нашёл-ся сразу.

Отец Сергея за всю жизнь не нажил ничего и этим гордился. Не бедствовал — мог бы иметь, но не хотел, отказывался, спускал, как только заводилось. Говорил — Сергей запомнил дословно, дети запоминают такое дословно: «Меньше имеешь — крепче спишь.» Та же фраза. Другие слова, та же форма. Не привязывайся. Не накапливай. Целее будешь.

А за отцом стояла его мать, бабка Сергея. И вот здесь договор показал, где его подписали.

Её раскулачили в тридцатом. Семью, у которой было всё — дом, скот, земля, накопленное тремя поколениями, — за одну ночь вывели подчистую и увезли. Девочка осталась смотреть, как чужие люди выносят из дома то, что копили её дед и отец. И усвоила в ту ночь урок, который усвоил бы любой ребёнок на её месте, потому что это был не вывод, а ожог: имеешь — отберут. Не «могут отобрать». Отберут. Она это видела своими глазами, это была не теория, это была её жизнь.

И с того дня она не наживала. Это спасло её рассудок — нельзя потерять то, чего не накопил. Она передала это сыну как технику безопасности, единственную, которую знала: не имей, тогда не отнимут. Сын передал внуку. Внук — Сергей

— сидел теперь передо мной и рубил каждое своё хорошее на взлёте, исполняя приговор, вынесенный в тридцатом году женщине, которую он никогда не видел.

Вот что такое родовой контракт. Условие, заключённое реальным человеком в реальной беде — по делу, ради выживания. А потом беда кончилась, а условие осталось. Оно течёт по крови дальше, к тем, у кого никто ничего не отбирает, кому ничего не грозит, кто живёт в другой стране и другом веке, — и продолжает исполняться, потому что у него нет срока годности. Бабка платила по необходимости. Отец — по привычке. Сергей — уже ни по чему. Просто кровь несёт пункт, а тело его исполняет.

Подписи Сергея здесь нет. Не было никогда. Он не заключал этот договор — он в нём родился, как рождаются в гражданстве, в фамилии, в форме носа. Спроси я его, как спрашивала первую: когда ты это подписал? — он не назовёт дня не потому, что забыл, а потому, что дня не было. Был тысяча девятьсот тридцатый год и чужая разорённая ночь.



Теперь — закон этажа. Запомни его, потому что на нём стоит вся вторая часть, и он отменяет всё, к чему ты привык в первой.

На верхнем этаже подпись твоя — значит, и отозвать можешь ты. Здесь подписи твоей нет. Значит, отозвать нельзя. Это не фигура речи. Это механика. Отзывают свою подпись — ту, что поставил сам. А чужую не отзовёшь: нельзя

забрать руку оттуда, где твоей руки никогда не было. Сергей не может «передумать» за бабу. Не может вернуться в тридцатый год и не пережить раскулачивание, которого он не переживал. Не может отменить договор, потому что договор не его и подписан не им. Всё, чему я учила в первой части, — увидеть подпись, прочесть вслух, отозвать, перезаключить — здесь не работает. Нечего отзываться. Нет твоей подписи.

И вот тут человек, дослушав до этого места, обычно ломается. Если нельзя отозвать — значит, приговор? Значит, я обречён рубить своё хорошее до могилы, потому что какую-то женщину сто лет назад ограбили?

Нет.

Потому что у родового контракта есть две вещи, которых нет у личного, и обе — лазейки.

Первая: ты можешь перестать платить. Отозвать договор нельзя — но платить по нему каждый день должен живой человек, и этот живой человек ты. Бабкин ожог — не твой. Тебя не раскулачивали. У тебя не отбирали. Ты исполняешь приговор по делу, которого с тобой не было. И в ту секунду, когда ты это видишь — по-настоящему видишь, не умом, а тем местом, где ожог, — ты получаешь право, которого не было у бабки: не платить. Ей было нельзя — у неё правда отбирали. Тебе можно — у тебя нет. Договор остаётся записанным в крови, его не стереть. Но исполнять записанное или нет — решаешь ты. Каждый раз, когда поднимется «всё

равно отберут» и рука потянется срубить хорошее, — ты можешь в этот раз не срубить. Не потому, что отозвал пункт. Пункт на месте. А потому, что отказался по нему платить.

Вторая лазейка важнее первой, и ради неё пишется эта глава.

Ты можешь не передать дальше.

Отозвать нельзя, платить можно перестать — но самое главное, что в твоей власти на этом этаже, лежит не позади, а впереди. Договор течёт по крови вниз. Он дошёл до тебя — значит, через тебя пойдёт дальше, к твоим детям, и они будут рубить своё хорошее, не зная за что, как не знал ты, пока не сел напротив меня. И вот здесь у тебя есть то, чего не было ни у бабки, ни у отца: ты можешь стать тем коленом, на котором пункт остановится. Не передать. Оборвать на себе.

Это не снятие. Я не оговорила ни разу и не оговорюсь: родовое не снимают. Но реку можно не пустить дальше своего русла. Бабка не виновата — она не знала. Отец не виноват — он не знал. Сергей теперь знает. А знающий, который передаёт дальше, — уже виноват. Это единственное место во всей второй части, где появляется вина, и появляется она не за то, что человек унаследовал, а за то, что, увидев, всё равно передал.



Я сказала это Сергею. Без жалости, как всегда, но и без обвинения — обвинять его было не в чем, он не подписывал. — Вас обокрали до рождения. Женщину, которой вы обя-

заны половиной крови, ограбили в тридцатом, и она с перепугу на всю жизнь решила не иметь, чтоб не потерять. Это спасло её. Вас это убивает. Потому что у вас никто ничего не отбирает — вы отбираете у себя сами, за неё, по приговору, который к вам не относится. Отменить его я не могу. И вы не можете. Его никто не может отменить — он уже случился. Но вы можете перестать его исполнять. И — слушайте внимательно, это важнее всего — у вас есть дети.

У него было двое.

— Они уже начали? — спросил он, и я впервые услышала в его голосе не усталость. Страх. Хороший страх — тот, что двигает.

— Посмотрите сами. Они боятся хотеть? Прячут желания? Радуются — и тут же гасят, будто боятся, что заметят и отнимут? Вы знаете их. Вы знаете ответ.

Он знал. Я видела по лицу — знал и узнал. Старший уже рубил. Уже не просил того, чего хотел, на всякий случай, заранее, чтоб не отняли.



Я не дам этой главе красивого конца, потому что родовой этаж его не даёт, а я обещала метод, а не утешение.

Сергей не «исцелился». Бабкин приговор как стоял в его крови, так и стоит — до могилы, и это честное слово, не фигура. Он будет ловить в себе «всё равно отберут» до последнего дня. Разница в одном: раньше он этому подчинялся не зная, а теперь будет — или не будет — подчиняться зная.

Это вся свобода, какую даёт второй этаж. Она меньше, чем на первом. Но она не ноль.

А главное он сделал не для себя. Он пошёл к старшему сыну — четырнадцать лет — и сказал ему то, чего ему самому не сказал никто: что в их роду есть страх, который едет по крови с тридцатого года, что он, отец, всю жизнь по нему платил, а сыну платить не обязательно, потому что у сына никто ничего не отнимал и не отнимет. Что хотеть — можно. Что иметь — можно. Что если отберут — это будет беда, но не приговор, и переживается, и наживается заново.

Подействует ли — я не знаю. Родовое упрямо, одного разговора мало. Но строка, которая шла вниз без остановки сто лет, впервые встретила колено, которое сказала: дальше не понесу.

Это не победа. На этом этаже не бывает побед в том смысле, в каком они были на первом. Это другое. Это — перестал платить сам и попробовал не передать. Всё, что здесь вообще в человеческой власти. Сергей сделал и то, и другое.



Прежде чем закрыть главу, короткое эхо. Один разрез рядом с большим — чтобы ты увидел: это не единичная история Сергея, это форма.

Был мужчина, сорок четыре. Пришёл с другим — с женой, точнее, с тем, что разваливался брак, — но за брак я зацепилась не сразу, сначала услышала фразу. Он сказал про жену, про детей, про дом, который наконец построил: «Да я всё

жду, когда это кончится. Слишком хорошо. Так не бывает. Всё равно отберут.»

Та же форма. Слово в слово почти, хотя он никогда не слышал ни про Сергея, ни про бабушку Сергея, ни про тридцатый год. У него был свой тридцатый. Своя ограбленная ночь где-то наверху по крови — я не успела дойти до неё, он не вернулся после первой встречи. Но фразу я записала, потому что это третий раз, когда я слышу её одной формы от человека, который не мог её ни у кого списать.

Вот что я хочу, чтобы ты унёс из этой главы крепче всего. Найди свою фразу — найдёшь свой договор. Родовой контракт всегда приходит фразой. Короткой, готовой, которую ты говоришь не думая, потому что считаешь её правдой о мире, а не пунктом, доставшимся по наследству. «Всё равно отберут.» «Меньше имеешь — крепче спишь.» «Не жили богато, нечего и начинать.» «В нашей семье не везёт.» «Нам много не надо.» Это не мудрость. Это не характер. Это даже не твоё. Это последняя строка чужого договора, которую тебе передали как своё имя — и ты носишь её, ни разу не прочитав, кто и за что её написал.

В следующей главе — женщина тридцати шести лет. Она найдёт свою фразу. Дойдёт до самого верха крови, до того, кто подписал. И сделает то, чего не сделал Сергей: заявит, что сняла договор совсем. Вернёт счёт роду — огнём и словом — и встанет, говоря: с меня хватит, я свободна.

Сняла ли она его? Или это затишье, которое она приняла

за свободу?

Я не знаю. Честно говорю тебе заранее: к концу той главы не буду знать тоже. И ты не будешь. Эта глава закроется без ответа — потому что есть договоры, про которые нельзя сказать, сняты они или просто молчат. И отличить снятие от затишья нельзя ничем — кроме времени, которого у меня в кабинете нет.

Та, что вернула счёт

Я обещала тебе, что к концу этой главы не буду знать ответа. Повторю сейчас, на входе, чтобы ты не ждал его и не обиделся, не найдя. Эта глава — единственная в книге, которая закрывается вопросом. Так задумано. Так честно. Иначе я солгу тебе красиво, а я не торгую красивой ложью.

Ей было тридцать шесть. И она пришла не как другие.

Другие приходят с бедой, которую считают своей виной, своим невезением, своим характером. Она пришла уже зная, что это не её. Она проделала половину моей работы до меня — прочла, разобралась, вычислила. Села напротив и сказала ровно, без дрожи:

— У меня родовое. По женской линии. Я знаю какое, знаю откуда, знаю с какого колена. Я пришла его снять.

Редкий случай. Обычно я веду человека к фразе за руку. Эту вести не пришлось — она принесла свою фразу сама, в зубах, как принесённое.



Фраза была: «Одна вырастишь.»

По женской линии её рода женщины растили детей одни. Не вдовами по случаю — а как закон. Мужчина был, потом мужчины не было: уходил, спивался, погибал, исчезал — каждый раз по-новому, а итог один. Женщина оставалась с ребёнком на руках и поднимала его сама, и стискивала зу-

бы, и справлялась, и передавала дочери вместе с молоком короткое: на мужчину не рассчитывай, одна вырастишь.

Прабабка — одна. Бабка — одна. Мать — одна. Она сама — в тридцать шесть, с дочерью, разумеется, одна. Двое мужчин до этого ушли так же необъяснимо-закономерно, как уходили все мужчины в её роду: вроде бы по своим причинам, а если отойти и посмотреть на четыре поколения разом — по одной.

Она дошла до начала. До той, первой, с кого пошло. Прабабкина мать — уходит глубже, чем доходят обычно. Женщина, чьего мужа забрали и не вернули — не на войне, а так, как забирали в те годы: ночью, без объяснений, навсегда. Она ждала. Потом перестала ждать и сказала себе то, что сказала бы любая на её месте, чтобы выжить и поднять детей: на мужчину рассчитывать нельзя, его отнимут, надо уметь одной. По делу сказала. По страшному, реальному делу.

И это поехало вниз. К правнучкам, у которых мужей никто не забирал, — они уходили сами, но кровь читала любой уход как подтверждение: видишь, опять одна, закон работает. Родовой контракт не различает причин. Ему всё равно, забрали мужчину или он ушёл в запой или просто сбежал, — ему важен итог, потому что итог и есть исполнение пункта. «Одна вырастишь» сбывается каждым новым мужчиной, который почему-либо исчезает. А исчезают они потому, что женщина, ждущая исчезновения, бессознательно его и устраивает: не подпускает до конца, держит наготове

чемодан внутри, не строит на двоих — и мужчина, живущий с той, что уже растит одна, рано или поздно становится лишним. Договор сам себя исполняет. Он всегда сам себя исполняет — в этом его механика.

Всё это она знала. Не от меня — до меня. Я слушала и понимала, что разбор ей не нужен. Ей нужно было другое.



— Я хочу вернуть это туда, откуда взято, — сказала она. — Я не хочу всю жизнь платить по счёту женщины, которую отняли сто лет назад. Это её счёт. Не мой. Я хочу его вернуть.

Вот здесь я должна тебе кое-что объяснить про этот этаж, чего не говорила в пятой главе.

Сергей перестал платить и попробовал не передать. Это всё, что он сделал, и это много. Но есть женщины — и почти всегда это женщины, — которые идут дальше. Они не довольствуются тем, чтобы тихо не платить. Они хотят акта. Хотят встать лицом к тому колену, где договор подписан, и вернуть его вслух — не уму, а крови. Это древнее любой психологии и работает по законам, которых я не возьмусь объяснить, но видела не раз: род слышит не рассуждение. Род слышит обряд.

Я не отговаривала. Когда человек созрел до возврата — отговаривать нельзя, можно только проследить, чтобы возврат был чистым. А чистый возврат стоит на одном условии, и я его поставила:

— Вернуть — не значит проклясть её. Не значит свалить

на неё вину. Она ни в чём не виновата — её ограбили, она спасалась как умела. Если ты вернёшь это с обидой, со счётом к ней, ты не разорвёшь связь — ты затянешь её ту же, потому что обида привязывает крепче долга. Вернуть можно только с благодарностью. Берёшь её дар — то, что он спас ваш род, что без этого «одна вырастишь» никто из вас не выжил бы, — берёшь, кланяешься и возвращаешь: спасибо, ты спасла нас этим, мне это больше не нужно, я отдаю тебе это назад, расти своих сама, а я своих — иначе.

Она поняла сразу. Умная была, я уже говорила.



Делала она это сама. Я не присутствую при таком — это не сеанс, это её дело с её кровью, я только показываю дверь. Расскажу с её слов, как она рассказала мне через две недели.

Ночь. Огонь — живой, не свеча: она вышла за город и развела костёр, потому что чувствовала, что нужен настоящий, что газовая горелка тут не годится, и была права. Перед огнём она назвала их всех поимённо, скольких знала, и тех, кого не знала, — обозначила: прабабкина мать, ты, первая, с тебя пошло. И сказала то, что мы готовили, но своими словами, которые пришли только там, у огня, — она их не помнила потом дословно, помнила только, что плакала и что слова шли сами.

Смысл был: я знаю, что тебя отняли. Я знаю, что ты ждала и не дождалась. Ты решила растить одна, потому что иначе было нельзя, — и ты вырастила, и через тебя выжили мы

все, четыре колена. Спасибо. Я кланяюсь тебе за это. Но меня никто не отнимал. У меня отнимать некому — мужчины уходят сами, потому что я их провожаю заранее, потому что ношу в себе твой страх как свой. Он не мой. Я возвращаю его тебе — с благодарностью, без обиды. Забери. Расти своих, ты уже вырастила. А я своих буду растить иначе. Отпусти меня. И я отпускаю тебя.

И — бросила в огонь. Что-то она бросила, предмет, не важно какой, важно, что для неё он держал весь договор. Смотрела, как горит. И, по её словам, в какой-то момент — она не подбирает красивых слов, говорит просто — «отпустило». Будто из спины вынули прут, на котором она держалась прямо тридцать шесть лет. Стало можно ссутулиться. Стало можно опереться. Стало пусто там, где всю жизнь был натянут страх.

Она пришла ко мне другая. Я это видела. Не внушила себе — была другая, телом другая. Села иначе. Дышала иначе. Говорила о мужчинах без той ровной заранее-усталости, с какой женщины её рода говорили о мужчинах всегда. Что-то ушло. Это я подтверждаю как свидетель — что-то ушло, и это не было игрой.



А теперь — то, ради чего глава стоит в книге, и то, что я обещала тебе на входе.

Я не знаю, что именно ушло.

Смотри, в чём вся трудность, и не давай себе соскользнуть

в лёгкий ответ ни в одну сторону. Есть два чтения того, что с ней случилось, и снаружи они неотличимы. Совсем. Их нельзя различить ничем из того, что доступно мне в кабинете.

Первое чтение: она сняла договор. Дошла до колена, где он подписан, вернула его чисто, с благодарностью, и род услышал и отпустил. Пункт, который ехал вниз сто лет, остановлен и возвращён к истоку. Она свободна по-настоящему. Дочь её будет растить детей с мужчиной, и так оборвётся то, что не оборвалось за четыре поколения.

Второе чтение: договор не снят. Он не снимается — я говорила это в пятой главе и не отказываюсь от слов. То, что она пережила у огня, — настоящее, но это не снятие, а очень сильное «перестала платить». Она вынула себя из-под пункта с такой силой, с таким обрядом, что это ощущается как свобода, — но пункт на месте, в крови, ждёт. Затишье. Глубокое, искреннее, телесное — и всё-таки затишье. И однажды, через год, через десять лет, в минуту слабости или большой любви, когда она по-настоящему обопрётся на мужчину всем весом, — поднимется старое: видишь, нельзя, отнимут, ты же знала. И всё вернётся, и она не поймёт, за что, ведь она же вернула, она же отпустила.

Я не знаю, которое из двух.

И — вот это самое важное — она тоже не знает. Хотя уверена, что знает. Она ушла в убеждении, что сняла. Эта уверенность — часть состояния, она всегда приходит вместе с облегчением, и она ничего не доказывает. Человек, перестав-

ший платить, и человек, снявший договор, в первый год чувствуют ровно одно и то же. Различить их может только то, чего ни у меня, ни у неё нет в наличии: время. Десять лет. Двадцать. Та минута, когда договор получит свой шанс вернуться, — и вернётся или не вернётся. Только тогда станет ясно, что это было. А пока — не станет.



Ты сейчас хочешь, чтобы я склонилась. Чувствую через страницу. Хочешь, чтобы я сказала: ладно, между нами — скорее сняла. Или наоборот, трезво: конечно, затишье, чудес не бывает. И то, и другое было бы тебе облегчением — любой определённый ответ облегчение, даже плохой.

Не дам.

Потому что в этом и весь урок второго этажа, и я нарочно поставила эту главу закрывать часть, а не открывать. На верхнем этаже ты всегда мог проверить результат: отозвал подпись или нет — видно по жизни довольно скоро. Здесь — нет. Здесь ты делаешь всё правильно, делаешь предельно, выкладываешься у ночного огня до дна — и не получаешь квитанции. Род не выдаёт справок. Ты не узнаёшь при жизни, снял ты договор или только усypил. Ты узнаёшь это, только если он вернётся, — а если не вернётся, ты так и не узнаёшь, оттого что снят или оттого что просто ещё не пришёл его час.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.